

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Институт мировой культуры

ББК 81.031

П 25

*Исследование подготовлено при поддержке
Программы фундаментальных исследований ОИФН РАН
«История, языки и литературы славянских народов
в мировом социокультурном контексте»
и Российского фонда фундаментальных исследований
(проект № 04-06-80443)*
RFFN

*Издание осуществлено при поддержке
Российского гуманитарного научного фонда
(проект № 04-04-16072)*

Пеньковский А. Б.

П 25 Загадки пушкинского текста и словаря: Опыт филологической герменевтики / Под ред. И. А. Пильцикова и М. И. Шапира. — М.: Языки слав. культур, 2005. — 315 с. — (Philologica russica et speculativa; Т. IV).

ISBN 5-9551-0100-4

Очерки, собранные в книге, посвящены «темным местам» «Евгения Онегина», «Полтавы», «Путешествия в Азию» и «Гробовщики». Последовательный филологический подход к слову Пушкина и его современников обнаруживает ускользающие от нас значения и смыслы, за которыми скрываются неизвестные стороны тогдашней русской жизни. В задачи автора входит непротиворечивое понимание ряда словесных мотивов и сюжетных деталей, взятых не изолированно, а в контексте художественного целого. Анализ подкрепляется обширными языковыми данными XVIII—XX вв., отражающими глубокие, но малозаметные сдвиги в языковой системе.

Книга может быть интересна пушкинистам, историкам русской литературы и русского языка, а также всем, кто хочет глубже понять Пушкина и культуру той эпохи.

ББК 81.031

ISBN 5-9551-0100-4



9 785955 101002

© А. Б. Пеньковский, 2005
© Языки славянских культур, 2005
© Philologica, 2005

Электронная версия данного издания является собственностью издательства,
и ее распространение без согласия издательства запрещается.

СОДЕРЖАНИЕ

От автора	5
...Но разлюбил он наконец // И брань, и саблю, и свинец («Евгений Онегин», 1, XXXVII, 13—14)	14
...Ни карт, ни балов, ни стихов («Евгений Онегин», 1, LIV, 11)	61
Но наконец она вздохнула... («Евгений Онегин», 3, XLI, 1)	76
О чердаках, вралах и метаязыке литературного дела («Евгений Онегин», 4, XIX, 4—5)	115
Бесконечный котильон («Евгений Онегин», 5, XLIII, 14 — 6, I, 7)	153
...Как солью, хлебом и елеем, // Делились чувствами они («Полтава», I, 264—265)	168
...Видел... врана и голубицу излетающих, символы казни и примирения («Путешествие в Арзрум»)	187
О Петре Петровиче Курцкине, о покойниках и мертвцах, о гробах напрокат, о желтом цвете и многом другом («Гробовщик»)	225
Библиография	253
Указатель слов, форм и выражений	274
Указатель имен	307

ОТ АВТОРА

Искажение поэтического произведения в восприятии читателя — совершенно необходимое социальное явление, бороться с ним трудно и бесполезно: легче провести в России электрификацию, чем научить всех грамотных читателей читать Пушкина так, как он написан, а не так, как того требуют их душевные потребности и позволяют их умственные способности.

О. Мандельштам

Определяйте значение слов, говорил Декарт — и вы избавите свет от половины его заблуждений.

А. Пушкин

Недавний пушкинский юбилей поставил перед филологической наукой и перед всей русской культурой множество вопросов. Но первым среди них, самым важным и жизненно необходимым должен быть признан, по моему глубокому убеждению, вопрос о том, «как читать Пушкина». Ибо опыт толкований, объяснений и интерпретаций творчества Пушкина накоплен богатейший, но — увы! — в его основе лежит, как правило, не чтение, а прочтение. «Чтобы понять писателя, надо его прежде всего правильно прочесть», — утверждал В. Ф. Ходасевич в программной статье «О пушкинизме» (Ходасевич 1998: 128, 130). Дело, однако, в том, что «правильно прочесть» можно только научившись «правильно читать», то есть так, как читал себя сам Пушкин. А для этого необходимо овладеть пушкинским языком, как и язы-

От автора

ком всей пушкинской эпохи в целом, честно и трезво отдавая себе отчет в том, что мы этого языка не знаем, так же, как не знаем стоящей за ним жизни.

Это отнюдь не вариации на тему известного тезиса о том, что «всякое понимание есть вмѣстъ непониманіе» (Потебня 1862: 114), или, в недавней формулировке М. Л. Гаспарова, что «между мною и самым интимным моим другом лежит бесконечная толща взаимонепонимания», что «всякое слово — чужое, всякий язык — чужой», а потому «можем ли мы (...) считать, что мы понимаем Пушкина лучше, чем собаку Каштанку?» (ФФ: 80). Речь идет не о проникновении в «чужую душу», каковая, по русской пословице, была, есть и всегда будет «потемки», а о проникновении в художественный мир, созданный именно для того, чтобы мы в него проникли. Осуществить это можно, лишь говоря с художником на одном языке. Именно это, надо полагать, имел в виду Пушкин, когда вслед за Декартом призывал определять значение слов и тем избавить свет от половины его заблуждений (11: 434)¹. Именно эта мысль обусловила загадочный на первый взгляд выбор изречения Э. Берка в качестве эпиграфа к беловой рукописи первой главы «Евгения Онегина»: «Nothing is such an enemy to accuracy of judgment as a coarse discrimination» = «Ничто так не враждебно точности суждения, как недостаточное различие» (6: 543, 663). Если отсутствие определенности и единства в понимании словесных значений и недостаточное их различие столь обостренно воспринимались Пушкиным и переживались им как препятствие в его общении с современниками, то насколько же упрочилась эта преграда в общении Пушкина с нами, отделенными от него дистанцией почти в 200 лет!

Поэтому нужно прежде всего признать, что общепринятое определение хронологических границ современного русского литературного языка по формуле «от Пушкина до наших дней» — определение, в основе которого лежит тот бесспорный факт, что Пушкин является первым свободно читаемым русским автором, — на самом деле глубоко ошибочно. В действительности тот язык, на котором думал, говорил, писал и творил Пушкин, — это язык, во многом близкий к современному, очень на него похожий, но в то же время глубоко от него отличный. Это «глубоко» — не просто эмоциональное обозначение степени. Речь здесь идет, конечно, не о бросающихся каждому в глаза особенностях фонемно-звукового состава отдельных языковых единиц, не о достаточно многочи-

От автора

сленных и яких лексических, слово- и формообразовательных архаизмах, не о множестве давно вышедших из употребления Fremd- и Lehnwörter (преимущественно галицизмов, которые обычно и разъясняются в комментариях к современным изданиям), не о легко воспринимаемых особенностях некоторых синтаксических конструкций и т. п., но именно о глубинах, недоступных поверхностному взгляду существенных отличиях, которые лежат в сфере словарных, коннотативных, оценочных и иных значений, скрытых, замаскированных наружной близостью, кажущимся, обманчивым тождеством.

Язык пушкинской эпохи унаследовал от прошлого систему в значительной степени, хотя и не до конца отработанных жестких макрограмматических норм и норм жанрово-стилистической дифференциации словарного материала. Однако во всех остальных отношениях давал говорящим / пишущим широчайшую свободу языкового выражения, оставляя в пренебрежении интересы слушающих / читающих, которые на каждом шагу попадали в ситуацию смысловой неопределенности. Вызывалось это двумя взаимосвязанными особенностями устройства семантики слова:

1) лабильной текучестью его значения (образом которого является не точка, как в современном языке, а более или менее широкое поле с нечетким центром и размыто-туманной периферией) и, как следствие,

2) его относительно большей (нередко полной) зависимостью от микро- и макроконтекстов, интерпретационные возможности и силы которых нередко оказывались недостаточными и выхода к полному пониманию сказанного / написанного не давали.

Оказывается, что в языке пушкинской эпохи носителем значения является не «словарное» грамматикализованное и аксиологизированное слово, а неграмматикализованное и неаксиологизированное слово в грамматикализующем и аксиологизирующем контексте. Это слово, не до конца освоившее мир и освоенное миром, еще не подвергшееся микрокатегоризации, которую оно должно пройти на следующем этапе исторического развития, чтобы стать словом современного русского языка. Отсюда, как следствие, принципиальная «безоценочность» и свобода валентностных характеристик такого многозначного и многосмысленного слова и специфика работы всего механизма тропообразования, которое осуществляется не переносами и переходами, а переливами и перетеканиями значений. Сплошь и рядом то, что мы в текстах пушкинской эпохи воспринимаем как метафоры и метонимии, на самом деле представляет собой лишь движения смысла

От автора

в изначально широком целостном семантическом поле. Не случайно сохранение в этом слове (ср., например, сочетание *убийственный кинжал*) утраченных впоследствии прямых, первичных значений. Это значит, что степень образности художественных текстов пушкинской эпохи в нашем сегодняшнем восприятии выше, чем она была в пору их создания для их авторов и читателей-современников. Свобода слова пушкинской эпохи от микрокатегоризации и оценочных значений дополняется неограниченной словообразовательной вариативностью и не виртуальной, а широко реализуемой свободой заполнения пустых клеток и полной симметрией в отношениях между членами парадигм каждого грамматического класса, чем объясняется отсутствие столь типичных для современного состояния языка неполных и ущербных слово- и формообразовательных парадигм. Ср. в языке первой половины XIX в. коррелятивные пары типа *можно — не можно*, *льзя — нельзя* при современном *можно — нельзя*. Или вполне употребительные в то время *класть — ложить*, *скласть — сложить*, *покласть — положить* и т. п. при современных *класть — *ложить*, **скласть — сложить*, **покласть — положить*. Ср. также: *того и гляди, что...*; *я того и гляжу, что...*; *мы того и глядим, что...*; *мы того и глядели, что...* — с современным: *того и гляди, что...* (все остальные клетки парадигмы пусты). Отсюда же поразительная легкость, с которой производящие передают свои синтаксические связи производным, а производные наследуют их. Ср., например: *вкрадываться во что* → *вкрадчивый во что*, *вкрадчивость во что*; *вдуматься во что* → *вдумчивый во что*, *вдумчивость во что*; *знакомый с кем* → *знакомец с кем*; *прийти в свет* → *пришелец в свет* и т. п. Факты такого рода говорят о менее нормализованном состоянии языка пушкинской эпохи по сравнению с нынешним и вполне подтверждают справедливость слов П. А. Вяземского: «Нашъ языкъ на то только и хорошъ, чтобы коверкать его, жать во всю ивановскую: соки еще всъ въ немъ» (ОА, II: 329).

Современный читатель Пушкина и других авторов этого времени пропускает их тексты через свое языковое сознание и интерпретирует их, исходя из своего современного языкового и жизненного опыта (а никак иначе воспринимать и интерпретировать их он не может), и закрывает книгу в полной уверенности, что он всё воспринял и понял. В пушкинском слове (в слове Боратынского, Лермонтова etc.) он радостно узнает наше, свое, сегодняшнее, родное — простое и понятное — слово, не отда-

От автора

вая себе отчета в том, что во множестве случаев эта понятность — иллюзия, самообман.

Еще опаснее то, что очень и очень многое понимается неправильно: неточно, неполно или даже превратно. И это совсем не тот феномен, который, говоря о жизни литературных текстов во времени, называют «приращением смыслов». Это искажение смыслов, порой доходящее до полного извращения. Ср. в письме А. Я. Булгакова К. Я. Булгакову (25 сентября 1829 г.): «Я такъ и загадывалъ, что будуть два фельдмаршала; но и зъ голубыхъ угадаль только графа нашего и другого нашего графа, милаго Воронцова (...» (Булгаков 1901, № 11: 358; где голубой — это не 'носитель голубого жандармского мундира' и уж, конечно, не 'гомосексуалист', а 'награжденный голубой андреевской лентой'). Здесь имеет место явление, близкое тому, что принято называть «ложными друзьями переводчика» (ср. Седакова 1998), но только действующее в сознании читателей, уверенных, что они читают текст на своем языке, тогда как на самом деле они переводят его с другого (пусть близкого, но другого!) — если не языка, то состояния языка, и переводят, как выясняется, с более или менее серьезными ошибками. При этом одно значение подменяется другим (отлично 'весыма, очень, в высшей степени' > 'очень хорошо'; неизвестный 'не вызывающий доверия' > 'огромный'; ненавидеть 'пренебрегать, презирать' > 'испытывать ненависть'; совесть 'душа' > 'чувство и / или сознание моральной ответственности'; упражнение 'занятие' > 'работа, направленная на развитие и совершенствование каких-л. навыков и способностей'). То и дело широкое значение заслоняется узким (возможно 'воздаяние по заслугам, как за добро, так и за зло' > 'наказание, кара'); прямое употребление принимается за иронически окрашенное (важный 'серьезный' > 'чопорный, надменный, надутый'); слова положительно-оценочные (бесцеремонный 'недцеремонный, простой, естественный', развязный 'чувствующий и ведущий себя свободно, раскованный') или нейтральные (поделом 'заслуженно'; самовольно 'по собственной воле', усугубить 'усилить') принимаются за несущие отрицательную оценку — и т. д.

«Ложные друзья» подстерегают не только рядового читателя. Не меньше они угрожают критику и публицисту, исследователю, интерпретатору и комментатору литературного произведения или исторического документа, и в этом случае ошибочное понимание освящается авторитетом ученого и через школу, университетскую и академическую науку становится общим

От автора

достоянием и входит в традицию, которая надолго закрывает путь к адекватному восприятию текста. Не спасают ситуацию и толковые словари (в том числе специализированный «Словарь языка Пушкина»), составители которых, как и рядовые читатели, во многих случаях не могут выйти из границ собственного языкового опыта.

«Ложные друзья переводчика» действуют на очень широком текстовом поле. Но даже если бы эффект их действия был связан лишь с отдельными, сравнительно немногочисленными единицами текста, и то нельзя было бы недооценивать его опасности, поскольку от того или иного понимания одного слова может зависеть истолкование целых фрагментов или аспектов художественного текста, а то и всего произведения. Тем более если мы имеем дело с ключевыми единицами текста, входящими в его опорные, несущие конструкции, и особенно в тех случаях, когда смысловая энергия «ложных друзей» наперед учитывается и сознательно обыгрывается автором, задающим читателю загадки разной степени сложности.

Таково, к примеру, выражение *длинной сказки в здор живой*, которое возникает в потоке воспоминаний тоскующего Онегина (глава 8-я, строфа XXXVI). «Сказку» обычно понимают в «фольклорном» смысле, как «повествовательное народно-поэтическое произведение о вымышленных событиях» (СП, IV: 133—134). На этом понимании базируется тезис о том, будто Онегин в конце романа обратился к «образам забытой некогда человечности, чистоты, и более всего, народности, фольклора» (Гуковский 1957: 261; разрядка источника. — А. П.). Г. А. Гуковскому вторит Ю. М. Лотман, который пишет о «погружении Онегина в мир народной поэзии, простоты и наивности, составлявших обаяние Татьяны в начале романа» (Лотман 1980: 366), — отсюда следует вывод о духовном перерождении пушкинского героя, чем подкрепляется общее положение о его изначальной порочности. Эта общепринятая концепция, однако, полностью рушится, если исходить из другого, не фиксируемого словарями, переносного значения слова *сказка* в поэтической речи пушкинской эпохи, представленного, например у Вяземского («Родительский дом», 1830), у К. Павловой («Кадриль», 1844) и многих других: ‘восстанавливаемый в памяти ряд жизненных событий и эпизодов’.

Правильное понимание слова *сказка* в этом контексте позволяет не-противоречиво реинтерпретировать, освободив от натянутых, искусственных толкований, и некоторые другие речения XXXVI строфы. В их чи-

От автора

сле слово дева 'молодая прекрасная женщина': это значение, нередкое в поэтической речи пушкинской эпохи, до сих пор не зафиксировано словарями². Но тогда письмы девы молодой, упоминание о которых завершает XXXVI строфу, — пушкинисты вопреки всякой логике приписывают их Татьяне — мы можем «передать» другому персонажу, поданному в романе лишь намеками. Речь идет о тайной героине проходящего через все произведение, но обычно не замечаемого, скрытого сюжета о роковой любви юного Онегина к замужней dame (см. Пеньковский 1999д; 2003). К этому же выводу приводит анализ множества других ключевых слов (таких, как *повесть*, *преданье*, *предсказанья*, *сердечный*, *смех*, *старина*, *страсти*, *темный*, *квакер*, *желчь* и др.) — анализ раскрывает их подлинные, не фиксируемые словарями значения, отвечающие общезыковым нормам эпохи и / или нормам пушкинской поэтической речи.

В этом словесном ряду совершенно исключительное по важности место принадлежит единицам, которые составляют тематическую группу «скуки» (*скука*, *зевота*, *лень* и все члены их корневых гнезд), — в тексте пушкинского романа они имеют аномально высокую частоту. Отсюда укрепившееся в пушкинистике понимание «Евгения Онегина» как «романа скуки» (Благой 1929: 84), а его героя — как пустого, пресыщенного, «объевшегося наслаждениями» (Непомнящий 1983: 266), развращенного велико-светского бездельника, «знающего только флирт и порок» (Гуковский 1957: 198). При таком взгляде на веци Онегин предстает перед нами в облике хлыща и фата, паркетного шаркуна, чьи поступки вызываются и объясняются скукой, а все жизненные реакции сводятся к зевоте, и потому определения *скучающий* и *зевающий* сопровождают в литературоведческих работах имя героя в качестве постоянных эпитетов. Однако, как показало специальное исследование (Пеньковский 1999д: 165—235; 2003: 187—263), скука в литературном языке пушкинской эпохи — чаще всего отнюдь не скука в современном значении слова. Это сниженный (в мужской речи — эвфемистически сниженный) эквивалент тоски. А через скуку 'tosку' и скучать 'tosковать' (ср. также *тошно* 'tosкливо' и *тошний* 'вчуже вызывающий тоску') объясняется «tosкливо» значение у слов *зевать*, *зевота* и *лень*, которое тоже было общим достоянием поэтической речи этой эпохи³. Пушкинский роман, таким образом, — не «роман скуки», а роман тоски. И Онегин — не скучающий бездельник, как принято думать, а человек, пораженный всеобъемлющей, всепоглощающей, безысходной тоской.

От автора

Таких слов в этом, как и во всех других пушкинских текстах, как и в текстах других авторов пушкинской эпохи, — десятки и сотни, и за каждым из них скрыты тайны общего языка и тайны индивидуального творчества, тайны отдельного словоупотребления и тайны целого текста. И каждая из них призывает нас остановиться и задуматься, осознать, что за ними стоит другой язык, которого мы не знаем, другая жизнь и другая культура, которых мы не понимаем. Вместо того чтобы пытаться адаптировать их к себе, нужно самоотрешенно и самоотверженно адаптировать себя к ним, умалив себя и став, насколько возможно, частью их мира⁴. В этом смысл филологии. Ибо, как сказал Гёте, *Wer den Dichter will verstehen, // Muß in Dichters Lande gehen = Кто хочет понять Поэта, // Должен отправиться в его Страну*. Также — прибавлю — и в его Время. Именно на этих началах были осуществлены исследования, которые легли в основу книги «Нина: Культурный миф золотого века русской литературы» (Пеньковский 1999д; 2003).

Автор надеется, что продолжающие «Нину» работы о загадках пушкинского текста и словаря, собранные в настоящем издании (некоторые из них публикуются впервые, а ранее опубликованные⁵ существенно расширены и дополнены новым материалом), помогут читателям хоть в малой мере проникнуть в недоступный поверхностному взгляду мир пушкинской эпохи, ее языка, литературы и культуры. Пользуясь случаем, хотелось бы выразить искреннюю признательность друзьям и коллегам — А. В. Гладко-му, И. Г. Добродомову, А. Ф. Журавлеву, Р. Ф. Касаткиной, А. А. Ковзуну, С. В. Кодзасову, Г. Е. Крейдлину, Т. М. Левиной, А. Либерману, И. А. Морозову, Н. В. Перцову, И. А. Пильщиковой, И. С. Приходько, С. М. Толстой, В. Н. Топорову, М. И. Шапиру, принимавшим участие в обсуждении моих текстов на разных этапах работы над ними и оказавших мне неоценимую помощь своими критическими замечаниями, советами и рекомендациями.

Примечания

¹ За оговоренными исключениями произведения Пушкина цитируются по большому академическому изданию (Пушкин 1937—1949); при ссылках на это собрание указываются только номера томов, полутомов (книг) и страниц. Все выделения в цитатах, не оговоренные специально, принадлежат мне (в курсиве для этих целей используется полужирность, а в прямом шрифте — разрядка).

От автора

² По выражению Бенедиктова, *И супругу стих поэта // Может девой величать* («Возвращение незабвенной», 1836).

³ Ср. *зевоту 'tosку'* Людмилы — Пушкин говорит, что она *томилась грустью и зевотой* («Руслан и Людмила», IV, 269), — а также словоупотребление в «Сцене из Фауста» 1825 г. (...) *И всяк зевает да живет — // И всех вас гроб, зевая, ждет. // Зевай и ты*, сердечную *зевоту* П. А. Вяземского («Николаю Аркадьевичу Кочубею», 1863), *тоскующую* (не «скучающую!») лень Онегина (1, VIII, 8) и *рассеянную лень* Татьяны (7, XLIV, 4).

⁴ Ср. слова М. И. Шапира об «изданиях академического типа, в задачи которых входит не приблизить текст к читателю, а приблизить читателя к тексту» (Шапир 2001: 47).

⁵ См. Пеньковский 1990; 1999г; 1999/2000; 2000; 2002б; 2002в; 2002г.

«...НО РАЗЛЮБИЛ ОН НАКОНЕЦ
И БРАНЬ, И САБЛЮ, И СВИНЕЦ»
(«Евгений Онегин», 1, XXXVII, 13—14)

Вспомним характеристику Онегина в XXXVII строфе первой главы «романа в стихах»:

Нет: рано чувства в нем остыли;
Ему наскучил света шум;
Красавицы не долго были
Предмет его привычных дум;
Измены утомить успели;
Друзья и дружба надоели,
Затем, что не всегда же мог
Beef-steaks и стразбургский пирог
Шампанской обливать бутылкой
И сыпать острые слова,
Когда болела голова:
И хоть он был повеса пылкой,
Но разлюбил он наконец
И брань и саблю и свинец.

Высказываясь по поводу этой и следующей строфы, комментаторы ограничиваются общими указаниями на то, что образ Онегина связывается с романтическим комплексом идей и чувств, в состав которого входят пресыщенность, отчуждение от мира, уныние, «преждевременная старость души» и т. п. При этом Онегин оказывается всего лишь двойником Кавказского пленника¹ и воплощением на русской почве разочарованных героев Байрона «в том иронически-сниженном освещении, которое было типично для наиболее радикальных деятелей тайных обществ, в частности

кишиневского окружения П(ушкина)» (Лотман 1980: 165). Конкретные детали пушкинского текста во внимание обычно не принимаются. Между тем приведенная выше строфа далеко не так ясна и прозрачна, как это может показаться на первый взгляд, а ее финальное двустишие просто загадочно, поскольку содержит трудно разрешимое противоречие.

Начну с неясностей целого, а затем перейду к загадке финала.

* * *

В самом деле, если не скользить взглядом по строчкам, а внимательно вчитаться и осмыслить сказанное Пушкиным, если отдать себе отчет в том, что понимание каждого отдельно взятого слова еще не гарантирует понимания целого текста и отдельных его отрезков, — в этом случае перед нами с неизбежностью встанет ряд вопросов.

Какие «друзья» и какая «дружба» надоели Онегину? Те ли это друзья, о которых в черновом варианте строфы 30-й «Путешествия Онегина» сказано:

Итак я жил тогда в Одессе
Средь новоизбранных друзей
Забыв о сумрачном повесе
Герое повести моей —
(...) Каким же изумленьем,
Судите, был я поражен
Когда ко мне явился он!
Неприглашенным приведеньем *(sic!)* —
Как громко ахнули друзья
И как обрадовался я! —

(6: 504)²

И та ли это дружба, о которой в начале следующей строфы той же рукописи говорится: [Святая] дружба! — — глас натуры (6: 504)? Или, напротив, это те «друзья», которым посвящены горькие строчки (4, XVIII, 8 и далее):

(...) Враги его, друзья его
(Что, может быть, одно и то же)
Его честили так и сяк.
Врагов имеет в мире всяк,
Но от друзей спаси нас, боже!